

Игнатий Потапенко

Шпион



Игнатий Николаевич Потапенко
Шпион
Серия «Записки старого студента»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=622905

Аннотация

- « – Скажи, пожалуйста, у тебя, кажется, большая дружба с этим господином?
– С каким господином? – спросил я, совершенно не поняв, кого он разумеет.
– Ну, с этим... С Литвицким.
– Дружбы нет... Я слишком мало знаю его. Но, вообще, у нас с ним хорошие отношения.
– Это странно.
– Почему же странно?
– Потому что Литвицкий человек подозрительный.
– Как подозрительный?
– Да так, просто вот, подозрительный да и только.
– Я не понимаю.
– Так ты спроси других. Говорят даже, что он шпион. ».

Игнатий Николаевич Потапенко

Шпион

Литвицкий был на третьем курсе, когда я поступил в университет.

Я приехал из далёкой провинции и не знал ни души. Мои товарищи поступили в другие университеты. Случилось так, что Литвицкий был первый, кого я встретил в стенах университета.

Его внешний вид несколько удивил меня. Я знал студентов, когда они приезжали летом на каникулы; все они одевались небрежно, большинство носило цветные рубашки, не требовавшие галстуков, чёрные шляпы с широкими полями. У многих были густые вьющиеся волосы, и они любили держать их в беспорядке, говорили очень громко, резко, любили рубить с плеча; такая была мода, как мода на толстые палки, которые все носили в руках.

Попадались, разумеется, и франты, носившие модные пиджаки, широкие брюки и пёстрые галстуки; случались и цилиндры; но я уже заранее знал, что это отщепенцы, и сам, когда снял гимназический мундир, готовясь стать студентом, – тотчас перешёл из него в цветную косоворотку и в сапоги с высокими голенищами и старался как можно реже расчёсывать свои волосы.

И когда я увидел Литвицкого, в первую минуту я даже усомнился, что это студент. Он был невысокого роста, худощавый, тонкий и бледный, в лице у него было что-то бабье, может быть, оттого, что он брил щёки, усы и подбородок. На нём был длинный чёрный сюртук, застёгнутый на все пуговицы. Из-за сюртука выглядывал белый воротничок с чёрным галстуком. Всё это, как и шляпа-котелок, которую он держал в руке, прикрывая ею тоненькую палочку, не отличалось особенной свежестью, но было прилично. Гладкие волосы его, какие-то бесцветные, были тщательно причёсаны справа налево. В общем он напоминал скорее благообразного чиновника, чем студента.

Он первый обратился ко мне:

– Вы ищете канцелярию?

Я ответил утвердительно. Он указал мне; а когда я вышел, он, как мне показалось, ждал меня в коридоре.

Он задал мне ряд вопросов общего свойства: откуда? какой я выбрал факультет? чем думаю специально заняться? и прочее.

Голос у него был мягкий, несколько слабый, как бы выходивший из не совсем здоровой груди. Мы незаметно вышли на улицу и шли рядом.

– А вы... вы тоже студент? – спросил я, в свою очередь.

– Да, я на третьем курсе, я филолог.

"Какой странный студент", – подумал я.

Тем не менее мы с ним разговорились. Он дал мне несколько добрых советов насчёт того, где нанять квартиру, где столоваться, где доставать книги, познакомил с характером некоторых профессоров, и мы расстались с ним уже добрыми знакомыми.

Такова была моя первая встреча с Литвицким. После этого я не встречал его целую неделю, но зато в течение этого времени успел приобрести множество новых знакомых. Молодые знакомства делаются быстро и легко. Сперва я познакомился с своим курсом, а затем почти с целым университетом.

Я помню, это было на улице. Нас шла порядочная группа из университета в кухмистерскую, где мы все обедали. Тут были студенты разных курсов и факультетов. Шёл более или менее общий разговор, прерываемый остановками, когда дорогу пересекал извозчик или ломовик.

Я уже чувствовал себя вполне студентом, сразу усвоив себе все правила и требования новой среды, и сблизился с новыми товарищами.

Впереди нас, на расстоянии двухсот шагов, из переулка на улицу вышла тонкая тщедушная фигура в длинном сюртуке и шла нам навстречу. Я узнал Литвицкого.

Наше общество растянулось на всю улицу, и я видел, что Литвицкий, поравнявшись с товарищами, раза три приподнял свой котелок, на ходу здороваясь с ними. Некоторые ответили ему тем же, а другие вовсе не ответили. Точно так же поступили и те, что шли рядом со мной.

Это было непохоже на товарищескую встречу. Ни радушие, ни простоты, ни каких-нибудь двух-трёх наскоро брошенных приветственных слов, как будто это был посторонний университету человек.

Но, увидев меня, Литвицкий ласково улыбнулся и остановился.

– А, здравствуйте, – сказал он. – Я вас не видал целую неделю! Я был не совсем здоров.

Я тоже остановился и пожал его руку. Никто из товарищей, которые шли со мною, не последовал моему примеру. Мне даже показалось, что они посмотрели на меня с удивлением и пошли дальше.

Литвицкий задал мне несколько вопросов, самых простых и естественных. Как я устроился? Доволен ли столом? Свыкся ли с лекциями? Который из профессоров меня больше увлёл?

Я ответил ему и, заметив, что мои спутники отошли довольно далеко и скрылись за углом, стал торопливо прощаться, чтобы догнать их.

– Заходите, пожалуйста, ко мне! – сказал мне Литвицкий. – Я буду очень рад.

И он сообщил мне свой адрес. Я поблагодарил, и мы расстались.

Я нашёл всех уже в кухмистерской. Нас было четверо, обыкновенно сидевших за одним столом. Я занял своё место и заметил, что три товарища, до сих пор оживлённо о чём-то разговаривавших, при моём появлении замолкли. И из других мест изредка посматривали на меня с новым для меня любопытством.

Прошло несколько минут. Я почувствовал себя не совсем ловко. Наконец, один из товарищей, сидевший за столом со мной, спросил меня:

– Скажите, вы давно знакомы с Литвицким?

– С неделю! – ответил я. – Я первого его встретил, когда пришёл в университет. А что?

– Нет, ничего, просто так.

И мне больше ничего не сказали про Литвицкого.

А Литвицкий между тем, по-видимому, совсем оправился от нездоровья, стал ходить на лекции, и я его почти каждый день встречал в университете. Но я никогда не видал, чтобы он был в толпе товарищей и с кем-нибудь говорил. Он почти всегда был один. Разве новичок какой-нибудь подойдёт к нему и разговорится. Но и то только один раз. А потом уж больше не подходит.

Я сперва было подумал, что у него просто молчаливый характер, но из личных отношений убедился, что он, напротив, очень говорлив. Он любил историю и, когда мы встречались и разговор касался университетских лекций, много говорил о ней, увлекался и был красноречив.

– Что же вы ко мне не зайдёте? – спросил он меня как-то.

В самом деле, у меня не было причин не зайти к нему, и я однажды завернул к нему вечером. Он жил очень высоко, в скромной комнатке с одним окном. Обстановка была самая мизерная, обычная студенческая.

По-видимому, мне он обрадовался, зажёл свечу и начал хлопотать насчёт чаю. Несколько самых общих вопросов с моей стороны заставили его говорить о себе. Я узнал, что он происходит из отдалённого уездного города, что отец его служит там на почте, старик

очень любит его, матери у него нет, умерла давно, но есть сёстры, которых очень трудно выдать замуж, потому что в уездном городе нет женихов. Отец высылает ему пятнадцать рублей в месяц, и этого хватает на жизнь. Уроков он не даёт, потому что уроки мешают работать.

В комнате его бросались во глаза аккуратность, чистота, порядок. У него было много книг по истории, и все они лежали в углу, расставленные в большом порядке, так как у него не было этажерки.

– Вы много читаете, должно быть?

– О, да, я всегда читаю! – ответил он. – Только здоровья у меня мало, грудь слаба и глаза утомляются.

– Скажите, Литвицкий, отчего вы не сходите с товарищами? Мне так показалось.

Он нахмурился.

– Я не люблю их! – ответил он.

– За что?

– За то, что они несправедливы.

– Как несправедливы? В чём?

– Я не хочу вас разочаровывать, да и вообще я не люблю навязывать своё мнение. Поживите с ними, сами увидите. Может быть, и вы очень скоро будете думать так, как они; это ведь делается очень быстро, и сами не заметите, как усвоите общее мнение. Одним словом, давайте говорить о другом.

И мы говорили о другом; но его ответы показались мне странными и не удовлетворили меня.

На другой день я его не встретил; он, очевидно, опять прихворнул. Ко мне подошёл Строганов, с которым я ближе других сошёлся, и мы были уже на "ты".

– Скажи, пожалуйста, у тебя, кажется, большая дружба с этим господином?

– С каким господином? – спросил я, совершенно не поняв, кого он разумеет.

– Ну, с этим... С Литвицким.

– Дружбы нет... Я слишком мало знаю его. Но, вообще, у нас с ним хорошие отношения.

– Это странно.

– Почему же странно?

– Потому что Литвицкий человек подозрительный.

– Как подозрительный?

– Да так, просто вот, подозрительный да и только.

– Я не понимаю.

– Так ты спроси других. Говорят даже, что он шпион.

– Кто это говорит? На каком основании?

– Это все говорят, это общее мнение.

Литвицкий шпион! Это сообщение поразило меня. Я стал припоминать свои впечатления. Как странно влияет на нашу душу подозрение? Ведь никаких оснований не привёл Строганов и бросил только слово, и вот уже всё стало окрашиваться для меня в другой цвет. То, что при первой встрече показалось мне просто странным, теперь начинало мне казаться подозрительным.

Его манеры и бритое лицо, и длинный сюртук, и причёска, и голос, – всё теперь говорило против него. Но это было только в первую минуту; а потом я стряхнул с себя эти нелепые, ни на чём не основанные мысли.

Почему? С какой стати так думать о человеке, если никто не знает фактов? И я спрашивал других товарищей. Я получал от всех почти одинаковый ответ.

– Да, Литвицкий человек подозрительный.

– Но в чём же? Разве были факты?

– Определённых фактов не было, но... это общее мнение. Да вы посмотрите, какие у него глаза, какой у него вкрадчивый голос.

– Господа, но глаза и голос не зависят от его воли.

– Глаза и голос выражают душу... Вы будьте с ним осторожны.

Положим, мне не из-за чего было осторожничать. Политикой я не занимался. Но мне было жаль расстаться с мыслью, что Литвицкий вполне порядочный человек.

– Господа! – воскликнул я однажды в курилке, где было нас душ десять. – Да скажите же, наконец, что собственно сделал Литвицкий, что дало повод составить о нём такое мнение?

Все пожали плечами.

– Как это наивно! Подобные вещи делаются тихонько, мой друг, – вразумительно сказал мне Бочагов, кудлатый студент третьего курса, очень влиятельный в кругу товарищей.

– Значит, никто никаких фактов не знает?

В ответ мне все усмехнулись. Очевидно, я говорил слишком наивные вещи.

Но моё чувство справедливости не удовлетворилось этим. Оно требовало чего-нибудь более положительного. В этот день я только мельком видел Литвицкого, когда он спешно записывал лекцию. Я проходил мимо, он поднял глаза и кивнул головой.

– Что не заходите? – спросил он.

– Я приду сегодня.

– По делу? – спросил он, и в глазах его мелькнуло разочарование.

– Нет... Так... Я приду...

Он на секунду оставил бумагу и пытливо посмотрел на меня. Да, в глазах его было что-то испытующее, проникающее в душу, слегка холодное.

Вечером я зашёл к нему. Он сидел у окна, а я, после первых приветствий, почувствовав необходимость говорить о важных вещах, начал нервно ходить по комнате.

– Вы чем-то взволнованы? – спросил Литвицкий.

– Да... Слушайте, – решительно промолвил я, заставив себя сразу приступить к делу, – простите меня, но я должен с этим считаться... Вы понимаете: все говорят это... Это общее мнение... Я не верю, ни на одну минуту не верю; я хочу слышать от вас...

Он вскочил с места:

– Негодяи! – крикнул он, и глаза его загорелись. – Они не только сами несправедливы, они не выносят справедливости в другом... Очень жаль, что вы поддались... Очень жаль... Страшно жаль!.. Но я не навязываюсь... Я не навязываюсь... Вы можете отвернуться от меня; вы будете не первый.

Он опять сел на своё место, голова его тряслась, плечи вздрагивали, колени стучали одно о другое, он громко, тяжело дышал.

– Полноте, Литвицкий, – говорил я успокоительным голосом, – я нисколько не поддался. Я ведь им не верю; но я должен был сказать вам. Я хотел узнать, откуда могло явиться такое мнение... Ведь оно общее.

– Да, да, общее мнение! – весь как-то вздрагивая, проговорил Литвицкий. – Это всегда самое несправедливое мнение. Вы ещё слишком молоды, вы не наблюдали. Общее мнение всегда основано на случайном признаке. У толпы нет ума, у неё есть только способность верить. А ничему так охотно не верит толпа, как гадости, сказанной про человека. Скажите ей про человека что-нибудь доброе, она, пожалуй, усомнится. Расскажите какую-нибудь гадость, она с восторгом поверит. Для толпы нет большего наслаждения, как узнать про человека дурное.

– Значит, это ни на чём не основано?

– Как ни на чём? На многом. Вот у меня бледное лицо, я брею щёки, стригусь и причёсываюсь, а этого не полагается. Надо иметь разбойничий вид, чтобы значиться в числе порядочных людей. Я очень усердно посещаю лекции, сколько хватает здоровья, а это признак дурного тона. Наконец... Наконец, мне противна взаимная рисовка в кружках, где каждый старается казаться умнее другого, где не занимаются делом, а нагромождают слова и стараются взять верх, где, наконец, занимаются наукой, которая меня не интересует. Я не хочу заниматься политической экономией. Мне противна эта наука, излагающая законы и правила взаимного обворовывания. Я люблю историю и ею занимаюсь. А у них политическая экономия, это какой-то символ веры, который все должны изучать, и её якобы изучают и филологи, и медики, и математики, изучают больше из трусости, чтоб не показаться отстающими. Вот вам и основания. О, товарищество – страшная вещь! оно беспощадно. Если у кого-нибудь смешной нос, так они все будут над ним смеяться, и, что бы ни сделал этот человек, хотя бы великий подвиг совершил, всё будет казаться смешным, потому что у него смешной нос. Товарищество это – самая страшная тирания. Думай непременно так, как все, не смей иметь своих взглядов, не смей даже носить сюртук такого фасона, какой тебе нравится. Они сами не замечают, как создают себе форму, ту самую форму, против которой протестуют. Разве эти высокие сапоги, цветные рубашки, широкополые шляпы не та же форма? А я не хочу носить форму, я одеваюсь по-своему...

Он говорил с едкой жёлчью, я не узнавал его голоса. Не было прежней мягкости, вкрадчивости, слышалась решительность и глубокое убеждение. И глаза его, обыкновенно слишком спокойно-наблюдательные, теперь пылали и искрились.

Глядя на него, я переживал какой-то внутренний кризис. "Общее мнение" сделало уже надо мной своё дело, и я уже смотрел на Литвицкого с известной предвзятой точки зрения; и когда он вдруг вышел из себя и начал жёлчно громить товарищество, у меня мелькнула мысль, что вот он горячится, значит – не прав. Но чем больше он говорил, тем яснее для меня становилось, что этот человек переживает глубокое страдание, и настал момент, когда я как-то внутренне, помимо соображений и размышлений, почувствовал, что он чист, и всё, что про него говорят, скверная клевета.

Я подошёл к нему.

– Ну, успокойтесь, Литвицкий, успокойтесь, – промолвил я, очевидно, искренним голосом, – если бы моя дружба могла искупить в ваших глазах эту страшную несправедливость товарищей, то я охотно предложил бы вам её.

Он посмотрел мне в глаза, как бы проверяя, искренно ли это я говорю, не смеюсь ли, не издеваюсь ли над ним. Должно быть, в моих глазах он прочитал выражение искренности. Он протянул мне руку и крепко пожал мою.

– Да, может, может... благодарю вас... Может потому, что я страшно нуждаюсь в дружбе. Я делал тысячу попыток... Когда попадался человек свежий, мозг которого ещё не придавлен "общим мнением", деспотизмом товарищества, он ко мне относился и дружелюбно. Но проходила неделя, другая, и, смотришь, уж он на меня косится, уже холод в его глазах, уже, значит, его свободную волю скомкали, отняли от него личность, лишили его индивидуальности, и он сделался одним из тысячи, он принял на веру "общее мнение". Это трусость, боязнь быть самим собою, страх самому отвечать за своё мнение, и я уже думал, что и вы поступили в это стадо. Но спасибо вам, спасибо... Тяжело чувствовать себя одиноким среди тысячи молодых душ, таких же молодых, как ты сам, у которых, по-видимому, одинаковые с тобой цели и стремления. И ведь люди всё недурные, ко многим у меня сердце лежит, многим с удовольствием протянул бы руку. Но это их рабство перед "общим мнением", самое страшное рабство, какое только есть на свете, стоит между нами; оно убивает в них всякое чутьё. Ведь я постоянно среди них переживаю муки, и они этого не чувствуют. Как, значит, притупились их нервы...

Я ещё раз пожал его руку, и мы простились.

Прошёл год. Лето я провёл в деревне. Начался второй курс, наступила зима. Я был студентом второго курса, а Литвицкий оканчивал, готовясь к экзаменам. Он был на очень хорошем счету у профессоров, и ему, может быть, предстояла кафедра.

У меня с ним неизменно сохранялись добрые отношения. И я должен сказать, что он имел на меня хорошее влияние. Я был ужасно молод. Молодые умственные силы бродили, и в первое время я метался, не зная, какие знания предпочесть, на чём остановиться. То мне хотелось обнять умом всё, то влекло к чему-нибудь одному. Мои товарищи, как слепые, ощупью переходили с факультета на факультет. В воздухе тогда носились новые, ещё не усвоенные идеи. Царство естествознания, как основа всех наук, кончилось. На первый план выступала экономическая наука. Но между ними была ещё борьба, и слабые, не созревшие умы падали жертвою этой борьбы.

Спокойные люди избирали середину, занимались философией или математикой. Литвицкий, благодаря своим познаниям и ясному взгляду на вещи, незаметно руководил мною. Он научил меня любить ту науку, которую сам любил, и я усердно занялся историей.

Товарищи, по-видимому, простили мне мою дружбу с Литвицким. Они, правда, говорили со мной осторожно, и даже те, что прежде были со мной близки, заметно охладели. Со мной не были откровенны, но всё же признавали меня настолько, что мне не приходилось страдать.

Среди года в университете разыгралась история, одна из тех, какие в то время бывали не в редкость. Молодой учёный, только что защитивший диссертацию, занял кафедру. Но диссертация оказалась на половину списанной с какого-то иностранного источника. Кто-то разоблачил, студенты оскорбились и, явившись однажды на лекцию, подняли шум, шиканье и свист. Присоединились другие факультеты, и разыгралось то, что называлось историей.

Аудитории опустели, студенты сходились в коридорах, во дворе, в частных квартирах. Ораторы взлезали на стулья и столы и держали горячие речи.

И вот на одной из сходов произошёл эпизод. Я присутствовал в толпе и видел, как вошёл Литвицкий. Он был взволнован. Вообще к студенческим делам он относился равнодушно. Но эта история, как я узнал от него ещё накануне, близко затронула его потому, что профессор был историк. Литвицкий держался такого же мнения, как и все студенты, и считал, что человек, способный выдавать чужие исследования за свои, не может быть терпим на кафедре. Это было его убеждение, которое он высказал мне, как другу.

В это время на возвышенном месте стоял какой-то студент с растрепавшейся шевелюрой и говорил страстную речь. Вдруг до слуха моего долетело:

– Тш... шшш... Господа, будьте осторожны, будьте осторожны.

Все начали осматриваться. А речь оратора стала прерываться.

– Будьте осторожны!.. – повторяли голоса, – здесь шпион...

У меня стиснуло сердце... Произошло что-то невероятное, чего я беспричинно и бессознательно боялся. Все, точно сговорившись, стеснились, подались к стенам, место посредине комнаты освободилось, и там стоял один Литвицкий. Положение сразу выяснилось для всех, и, конечно, для него стало ясно, к кому относились эти предостережения.

Он смотрел на всех какими-то безумными глазами; голова его тряслась и плечи его вздрагивали, как тогда, в тот вечер, когда я с ним объяснился. Оратор уже сошёл с своего места, и ни чей голос более не раздавался.

Вдруг Литвицкий одним прыжком очутился на возвышении, и оттуда слышались слова, – странные слова, несколько не относившиеся к предмету, который всех волновал.

– Здесь раздалось слово "шпион"... я знаю, к кому это относится... Это вопрос чести... Понимаете ли вы, что такое вопрос чести? Я требую оснований... Наконец, я требую этого... Пусть сказавшие это слово выйдут на середину и повторят его громко, пусть они приведут

доказательства. Я предоставляю им рыться в моей душе, перебрать всю мою жизнь... В противном случае я буду иметь право сказать, громко сказать, на весь мир крикнуть, что вы, все вы, здесь присутствующие, – бесчестные люди!

Послышался шум, галдение и свист. А с возвышенного места продолжали раздаваться слова:

– Шум и свист ничего не доказывают! Итак, никто не хочет сказать открыто, никто не может доказать гнусную клевету, которая преследует меня вот уже четыре года! Никто! Я жду... Значит, никто? – кричал Литвицкий, и его обыкновенно слабый голос звучал теперь, как гром. – Так я объявляю... объявляю, что все вы бесчестные люди... вы... вы... негодяи...

Последнее слово оборвалось на половине, и Литвицкий грохнулся на пол.

Всё смолкло. Литвицкий был без чувств. Его вынесли на руках. Я и ещё один товарищ уложили его в извозчий экипаж и довезли до дому.

На другой день у него появился жар и бред; у него сделалась горячка.

Для меня это были тяжёлые дни. Я был единственный человек, близко знавший Литвицкого, которого и он поэтому признавал. И мне пришлось всё время быть при нём.

Был день, когда казалось, что слабый организм не перенесёт болезни; я потерял голову и послал телеграмму его отцу. Дня через четыре приехал старик.

В первую минуту, когда я его увидел, я был поражён совершенно необыкновенным сходством. Бывают сходства в чертах лица, в некоторых привычках и манерах, словом то, что называется фамильным сходством, но тут было почти тождество, до малейших мелочей. Старик Литвицкий послужил для меня ключом для уразумения странной внешности товарища. Он точно так же брил лицо, так же причёсывал голову, носил такой же длинный сюртук, который всегда застёгивал на все пуговицы, и такой же у него был мягкий и тихий голос и спокойный, проницательный взгляд. И другие товарищи видели этого старика и понимали, откуда Литвицкий перенял свою внешность и свои манеры.

Когда старик приехал, Литвицкому уже стало лучше. Он как-то чрезвычайно быстро начал оправляться.

Странное дело! Я заметил, что среди студентов началось решительное движение в сторону Литвицкого. Человек, прожив среди товарищей четыре года тихо, незаметно, ни разу не возвысив голоса, не мог вызвать в них ничего, кроме пренебрежения. Но вот он не выдержал, его прорвало, он вступился за себя, предъявил свои права на уважение, предъявил в резкой форме, бросил всем вызов, оскорбил всех, и люди вдруг почувствовали, что это сила... И стали уважать его.

Во время его болезни студенты справлялись у меня о здоровье Литвицкого. Некоторые заходили даже к нему на квартиру. Было ясно, что четырёхлетняя ошибка всеми была признана, и товарищи, может быть, раскаялись в ней.

Как только Литвицкий стал поправляться, я рассказал ему об этом. Он покачал головой и промолвил:

– Не надо. Я этого вовсе не добивался. Они доказали мне достаточно, что уважать их не стоит... Я их не уважаю...

Он поднялся с постели, когда уже приближалась весна; история с профессором давно была кончена. Студенты были побеждены.

Литвицкий появился в университете за неделю перед тем, как должны были прекратиться лекции. Встречая его, товарищи останавливались и здоровались с ним. Он мог убедиться, что теперь все смотрели на него другими глазами. Но сам он торопился отвечать на поклоны и спешил пройти мимо.

Скоро он углубился в лекции, деятельно готовясь к экзаменам. Ему надо было наверстать много пропущенного во время болезни. Его редко видели на улице. Я заходил к нему

часто, и он всегда горячо жал мне руку и был рад мне. Я понимал это чувство. Я был единственный человек, который не оскорбил его подозрением.

Болезнь не помешала ему выдержать экзамен с блеском. Как и следовало ожидать, ему предложили остаться при университете для дальнейшего усовершенствования в науке. Но он отказался.

Я спросил его:

— Почему вы отказались, Литвицкий? Мне казалось, что вы имели это в виду...

Он ответил:

— Я хочу уйти подальше от всего, что напоминает товарищество. Они принесли мне слишком много вреда. Те годы, которые для всех других бывают лучшими годами жизни, благодаря им, для меня сделались самыми мрачными. Мне нанесли рану, которая никогда не заживёт.

Он уехал в свой уезд и там поступил на службу. Он никогда не примирился с товарищами.